

Николай Златовратский

# Надо торопиться



# Николай Николаевич Златовратский

## Надо торопиться

«В небольшом трехконном домике чиновника Побединского, стоявшем на крутом обрыве к гнилой речонке города N, произошло очень важное для обитателей его событие: вчера умер от скоротечной чахотки единственный сын хозяина, гимназист 6-го класса. Болезнь свалила его быстро...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0010
III.....	.0017
IV.....	.0027
V.....	.0039
VI.....	.0043
VII.....	.0051

# Николай Николаевич Златовратский Надо торопиться[1]

*Посвящается памяти В-ой*

*Sunt cuique... (\*)*

*(\* Каждому свое... (лат.).)*

В небольшом трехкоконном домике чиновника Побединского, стоявшем на крутом обрыве к гнилой речонке города N, произошло очень важное для обитателей его событие: вчера умер от скоротечной чахотки единственный сын хозяина, гимназист 6-го класса. Болезнь свалила его быстро. Еще неделю тому назад можно было каждое утро, в обычные восемь часов, встретить Костю Побединского – этого длинного, сухого, сторбленного, с худым лицом и близорукими глазами в очках юношу, поднимавшегося с трудом на высокий вал, для сокращения пути в гимназию.

Это был юноша тихий, смирный, способный – один из первых учеников гимназии. Все прочили ему хорошую карьеру, и только чересчур напряженное прилежание и какая-то лихорадочная торопливость, которая замечалась во всех его действиях, да как будто несколько блуждающая мысль – признак человека, постоянно сосредоточенного на каком-нибудь одном пункте, вызывали некоторое опасение за его судьбу. Но вообще им бы-

ли довольны все. Даже был доволен отец, добрый в сущности человек, но имевший странный взгляд на воспитание: он считал обязательным быть суровым с детьми и не допускать «нежностей». Он говорил: «Наша жизнь трудная. Нам не к сердцу миндальничать... Нужно, чтобы наш брат с пеленок закалял себя, чтобы каждый час у него был рассчитан... Нам время терять нельзя...» И благодаря такому взгляду он упорно душил в себе всякое проявление чувства, чтобы не выказать «слабости». Тем не менее дети хотя и боялись его, но уважали. Отец был суров и с Костей, но Костя чувствовал по интонации в голосе отца, по некоторым чуть приметным взглядам, на которых он ловил его, что отец им доволен, что он любит его, что он верит в него и ждет от него многого. Действительно, отец возлагал на своего единственного сына большие надежды, что, наконец, он выведет их всех в «люди». Это был самолюбивый человек. В свое время он сам мечтал «выйти в люди», выбиться из всенивелирующей пошлости и приниженности – на это он потратил много энергии (уже будучи чиновником, он пригла-

шал к себе на уроки семинаристов, платил им из своего скудного жалованья, мечтая, при помощи их, пополнить недостатки собственного образования). Когда у него родился Костя, он еще сам мечтал сдать вступительный экзамен в университет! Но нужда и неудачи час за часом обрывали крылья этой энергии, и, не выигрывая в осуществлении своих мечтаний, он только проигрывал по службе, как человек, смотревший несколько свысока на своих начальников и сосоварищей. Это его озлобляло. Костя рос, и понятно, что все мечты отца-неудачника сосредоточились на сыне. Он следил за ним, за каждым шагом в его развитии с каким-то мучительным томлением. Трудно сказать, кому было больнее и обиднее от каждого неудовлетворительного балла – отцу или сыну. Отец почти никогда не наказывал Костю, но последний в тысячу раз больше всякого наказания боялся взгляда отца, этого невероятно мученического и страдальческого взгляда, как будто с него заживо снимали кожу. «Эх, Константин! – бывало, скажет отец таким невыносимо-страдальческим тоном, что в Косте перевернется вся ду-

ша. – Неужели, братец, нам всем так и суждено сгнбнуть?.. Ведь, кажется, бог не обидел нас ни умом, ни талантами, а?..» И этого было достаточно, чтобы в Косте вызвать всю силу напряжения, которая в нем могла найтись. Целые ночи пролетали за латинскими и греческими вокабулами[2]; портились глаза, горбилась спина, преждевременная дряхлость сказывалась в молодом организме... Вот уже проходили последние годы гимназического ученья, еще несколько шагов и – Рубикон будет перейден[3]; там, впереди, все же будет легче... И еще томительно-мучительнее наблюдал молча за сыном отец, и лихорадочно-торопливее напрягался сын.

Костя умер в конце осени. Легко вообразить, какое впечатление произвела его смерть на отца. Стоило только взглянуть на эту высокую, сухую фигуру, суровую и строгую, с гладко выбритым подбородком и ввалившимися, зеленоватого цвета, щеками, с поседевшими за одну ночь волосами, – фигуру, неподвижно стоявшую целыми часами в маленькой зальце у гроба сына, чтобы понять, какую душевную муку переживал Побе-

динский. Все три дня, пока шло «убиранье» покойника, прощанье, похороны, поминки, Побединский почти ничего ни с кем не говорил. Когда кто-то из педагогов захотел пособлезновать и сказал Побединскому, что Костя «надорвался», что надо бы ему полегче относиться к делу, что ведь так невозможно...

– Что невозможно? – сурово перебил его Побединский.

– Так надрываться... Надо легче относиться к жизни.

– Легко-с?.. А позвольте вас спросить, если бы мы не надрывались в школе, легче нам было бы жить?.. Я вас спрашиваю: легче было бы нам жить?.. Нет, вы при наших детях этого не говорите...

– Но ведь вот какой результат...

– Пусть! – сурово проговорил Побединский. – Это лучше... Не вывезло, ну что ж?.. Лучше смерть, чем прозябание... Для нас иначе нельзя... Для нас отдых только впереди...

Когда Костя лежал уже мертвый, сначала на постели, потом в гробу на столе, потом в церкви, за ним, в наивном недоумении, упорно, со страхом и любопытством следили два бойких голубых глаза. То была краснощекая, с густыми кудрями двенадцатилетняя сестренка его Надя, прозванная «чемоданчиком» самим Костей за ее изумительный аппетит. Когда Надя увидела рыдавшую мать и мрачное, смоченное слезами лицо отца, она игриво и неслышно, как кошка, просунула голову в дверную щель в комнату, где лежал на кровати труп Кости, и долго внимательно смотрела в его сухое, зеленое лицо и спрашивала: что же это такое? Это и значит умер? Значит, он больше не будет сидеть в кабинете за латинской грамматикой или заниматься с нею по арифметике? Или он полежит так еще с неделю, другую и потом встанет, и опять она будет видеть его за тем же столом, сторбленно-го, в очках, у лампы с голубым абажуром, низко уткнувшего свой нос в толстый лексикон? Да, конечно, так, решила она и убежала пры-

гать на улицу.

Но вот принесли гроб. Костю нарядили, положили в гроб и поставили среди залы на стол. И опять, когда все ушли, два быстрых и внимательных глаза сверкнули в дверной щели, потом высунулась кудрявая головка, потом два несмелых шага, и Надя опять в недоумении всматривается в новую незнакомую ей картину. Она уже ничего не думает, она поражена и только спрашивает: «Ну, что же дальше будет?»

Потом пришли вдруг разом все товарищи Кости, весь класс, подняли на руки гроб и унесли в церковь, а оттуда так же понесли на руках на кладбище.

Особенно забавны были ей двое, которые надели на головы крышку гроба, словно одну большую шляпу... И Надя все продолжала спрашивать себя: «Что же дальше?» Дальше – Костю закидали землей и уехали...

«Только-то? – это был последний вопрос, который так и застыл в ее больших глазах. – И больше уж Костя не будет учить свои латинские вокабулы? Не будет сидеть сторбившись целые ночи за своим столом у голубого

абажура лампы? И для этого только он сидел сторбившись столько дней и ночей?»

И опять она спрашивала себя: «Только-то? И больше ничего не будет? И все тут?» И никак она не могла с этим примириться, и все думалось ей, что Костя вернется и опять сядет у голубого абажура, потом будет сдавать экзамен, все будут довольны – и он, и папа, и мама... Всем будет так весело, потому что все будут мечтать, как скоро Костя «выйдет настоящим человеком», как для всех них начнется какая-то новая, не такая – «настоящая жизнь».

Как для отца и матери, так и для нее в Косте заключались представления, все мечты о будущем: что-то такое неизвестное, но несомненно новое, хорошее, какие-то громадные перспективы должен был открыть им Костя. На нее, девочку, хотя ей и было уже двенадцать лет, мало обращали внимания; если мать, стоя у ее постельки, и мечтала иногда об ее судьбе, то судьба эта как-то неизбежно всегда приурочивалась опять-таки к тому же Косте. Костя же занимался с нею в свободное время; хотя в городе два года была уже откры-

та женская гимназия, но Надю отдавать не торопились, стесняясь средствами.

Кудрявая, краснощекая, она все еще беззаботно носилась по улицам, по садам и огородам, перепачканная, пыльная, больше напоминавшая резвого уличного мальчишку, чем степенную барышню.

Смерть Кости как-то сразу оборвала даже ее беззаветную резвость: даже для нее стало понятно, что что-то оборвалось. Бегаёт-бегаёт она теперь и потом вдруг, совершенно невольно, забежит в кабинет, в залу, и присядет в уголок, и долго смотрит в передний угол, где недавно стоял дьячок, читал Псалтырь[4], искрился и блестел большой серебряный подсвечник в изголовье гроба, – а вот тут гроб и в нем Костя... И ее охватывало какое-то страшное, гнетущее недоумение, и ей казалось, что теперь уж нельзя почему-то больше бегать и лазать по деревьям так, как она бегала и лазала раньше, «при Косте»... Что же нужно было делать, как жить «по-новому», она не знала, но чувствовала, что что-то надо было делать по-другому.

Однажды, когда она так же сидела в уголке

зальца, ранним утром, вернувшийся откуда-то отец вдруг заговорил с ней.

– Надежда, – сказал он с обычной суровостью, – оденься получше... Поди, мать оденет... Да скорее, надо торопиться!..

Надя сначала вздрогнула (она боялась отца бессознательно; он был для нее таким же воплощением грозной правды, как громовержец), потом она вся вспыхнула, вскочила и робко стала смотреть на отца широко открытыми глазами.

– Ну, ступай же... Говорю: торопиться надо! Еще, может быть, успеем... – повторил отец.

Надя робко и смиренно опустила глаза, сконфузилась и степенной, торопливой (совсем, совсем не прежней прыгающей, козьей) походкой пошла к матери: во всем ее существовании вдруг сказалось, что вот теперь наступило это «новое», и новое это заключалось прежде всего в том, что куда-то зачем-то неизбежно, необходимо «надо торопиться»...

Мать одевала ее плача и крестя (из ее головы, конечно, не выходил Костя, и, может быть, в ее воображении мелькнул новый гробик)... Вот Надя в голубом платье, белой пе-

леринке, капоре и стареньком драповом пальто вышла с отцом из дому. Отец шагал широким, торопливым шагом, Надя семенила, едва поспевая за ним, взволнованная, запыхавшаяся, полная неясных, тревожных ощущений.

– Ну, Надя, – говорил отец, – теперь уж ты... Теперь на тебя вся наша надежда... Тебя и зовут Надеждой, – улыбнулся он ей. – Почему знать, может быть, это и недаром... Бог знает, к чему все ведет!.. Конечно, ты не мальчик, не Костя... Уж от тебя ждать того нельзя, а все-таки... Нам больше нечего делать: мы не баре, чтобы выезжать на балы, заниматься изящными искусствами и обольщать богатых женихов; мы и не купцы – у нас нет средств делать тебе приданое... Все наше – мальчик ли, девочка ли, все равно, – все наше вот здесь, – постучал он себя набалдашником трости в околыш фуражки. – Ум, Надя, знание... прилежание... вот твое приданое!..

Так говорил Побединский, как будто действительно думал, что в жизни разночинца нет ни старых, ни молодых, что одинаково для всех должно быть присуще сознание су-

ровой борьбы с жизнью.

Побединский вел Надю определять в гимназию, в которой уже начались занятия. Надо было торопиться поступлением. Кое-как, хотя и с грехом пополам, Надя сдала экзамен во второй класс, и ей сейчас же опять надо было торопиться – догонять своих одноклассниц.

Прошло пять лет (и как изумительно быстро они пролетели!), и вот в том же трехоконном домике, в том же узеньком и душном кабинете, пред той же лампой с голубым абажуром, на том месте, где некогда сидел Костя, так же все пять лет сидела Надя. И как она стала похожа на Костю! Давно уже нет у нее ни прежних розовых щек, ни пухленьких ручек, ни того завидного аппетита, за который прозвал ее Костя «чемоданчиком»... Высокая, длинная, с выдавшимися лопатками и плоскою грудью, с тою же лихорадочною торопливостью, как и Костя, в обычные восемь часов утра шла она по дороге в гимназию... Иногда утомленный организм просил отдыха, такая нападала страстная потребность лени, что Надя бросалась на кровать и долго неподвижно лежала, не думая ни о чем, не чувствуя ничего... Это полное бездействие, когда утомленный мозг переставал напряженно работать, доставляло Наде единственное безмерное наслаждение... И казалось, пролежала бы она так долго, бесконечно долго.

– Надя, ты приготовила уж уроки? – раздаётся ровный, тихий голос отца, заглядывающего осторожно в комнатку Нади, когда что-то долго не долетало до его слуха шуршанье книжных листов. – Нам бы, Надечка, только теперь покалечь... Уж недолго... Только бы теперь не застрячь... Поналечь, поторопиться... А уж там...

Отец не договаривает, что такое будет «там», – да не знал этого ни он, ни Надя... Надя только видела перед собой все тот же невероятно страдальческий, мученический взгляд отца, в котором так ярко светились и надежда, и несбывшиеся мечты, и эти вечные, тревожные потуги достичь чего-то «нового», хорошего – не такого, как эта окружающая жизнь.

Надо торопиться...

Надя хорошенько не может определить, когда именно это совершилось. Ни мать, ни отец ей ничего не говорили; сама она в своей безотчетной, лихорадочной торопливости, погруженная в учебники, не могла всматриваться внимательно в то, что происходило вокруг нее. Только уже спустя неделю она стала

замечать, что отец позеленел и поседел, что он весь вдруг как-то опустился. Аккуратный, исполнительный и трудолюбивый всегда, – он теперь сидел целыми часами и днями у окна, молчаливый и мрачный, и курил трубку за трубкой; целыми неделями он не снимал халата, не делал шага из дому, не брился... Он забывал пить и есть, пока его не звали...

– Мамаша, что такое сделалось с папой? – спросила Надя мать.

– Ну что же такое? Ничего... Все, бог даст, исправится! Очень уж он к сердцу принимает... А ты не думай об этом. Все, бог даст, уладится...

Надя догадывалась, что отец отказался от места. Она уже замечала, как начали исчезать из дому более ценные вещи, наконец, материны платья; потом не стало кухарки, и мама, всегда молчаливая, кроткая, простая, гама возилась в кухне. Однажды Надя взглянула в окно и вдруг вспыхнула: мама, накинув на голову шаль, несла с колодца через улицу на коромысле ведра с водой...

Надя встала, тихонько приотворила дверь в соседнюю комнату и посмотрела на отца:

глаза его были красны, и какая-то судорога сводила его губы (он не замечал ее). Она тихо подошла к нему. Он вздрогнул и так умоляюще, так ребячески-беспомощно взглянул ей в лицо, что у нее сжалось сердце и подступили к горлу слезы.

– Папочка, папа! Зачем так убиваться... Я для вас все... сделаю... Я... готова на все... только уж немного подождать... Вот экзамены, – говорила, волнуясь, заикаясь и плача, Надя, сжимая руку отца.

– Надя, я, конечно, знаю, вы меня любите... Мать меня любит... Но я не выношу этого смирения. Это слишком... Это значит – укорять меня... Но я не мог... Я самолюбивый человек, я не мог стерпеть, когда видел, что мою голову, мой ум, мои труды другие... бесовестно и почти нагло... не стесняясь, не стыдясь... выдают за свои и... торжествуют!.. Потому что они начальники, а я – писмоводитель... служу по найму... что это так и должно быть... что я получаю деньги... за это... Впрочем, ступай учишься, – сказал отец и как-то торопливо поднялся, погладил ее рукой по голове и стал одеваться.

В этот день пришел он поздно. Надя только что легла. Она стала прислушиваться. Отец был необычайно весел, смеялся над матерью, шутил, считал какие-то деньги... Потом он, нераздетый, повалился на диван и сразу заснул. Надя вскочила и, приотворив дверь, заглянула сначала на спавшего отца. Лицо его изумило ее: у него никогда не было такого выражения, какого-то блаженно-глуповатого, как у пьяного... Он то храпел, то что-то бормотал бессвязное, искривляя губы в глупую улыбку... Надя испугалась и подошла к комнате матери и так же тихо заглянула в дверь. Мать стояла на коленях пред образом и, припадая к полу, жарко молилась, обливаясь слезами... У стены, на кроватке, спала крепко маленькая шестилетняя сестренка Нади... И как пуста, неуютна показалась Наде комнатка матери, в которой прежде так было хорошо, так много было вещей на этажерке, на комодах, – еще остаток материнского приданого... Сколько, бывало, хороших вечеров провела Надя в этой комнатке с матерью, которая показывала ей каждую безделку и долго-долго рассказывала длинную повесть о сво-

ей девической жизни. Надя так же тихо вернулась в свою комнатку; сердце ее усиленно билось, на глазах навернулись слезы... Вот ей так ясно представился Костя, сидевший по ночам у лампы с голубым абажуром. Надя забралась под одеяло на кровати, а голова продолжала работать.

– Нет, я не такая, как он... Я ленивая... Мне так тяжело сидеть за учебниками. А если я не выдержу?.. Господи, помоги мне!.. Нет, надо торопиться... Так нельзя...

Мысли носились разорванные, бессвязные в голове; куда, зачем торопиться, – Надя опять-таки не знала определенно, но она чувствовала всем существом, что на нее ложится все настойчивее какой-то фатальный долг – долг жизни... И ни на минуту в ее голову не закралось сомнение в необходимости этого долга. Ее доброе, юное сердце говорило ей одно, что она должна быть на все, на все готова...

Это было уже спустя полгода, незадолго до выпускных экзаменов. Отец опустил совсем; он каждую ночь приходил навеселе и иногда приносил денег, иногда сам уносил

последние ценные вещи. Их уютная квартира пустела час за часом. А мать смирялась все больше и больше, все уходила в себя, все сокращалась, как улитка, все становилась молчаливее и только с какою-то подвижническою настойчивостью отдавалась хлопотам по хозяйству. С утра до ночи она варила, шила, стирала без слова упрека и даже иногда весело смеялась, когда в праздничный вечер собиралась вся семья около чистого самовара. И ее веселость была так заразительна, что сам Побединский пускался рассказывать городские новости, и всем было так хорошо, как будто лучшего они не знавали раньше и лучшего не желали... Но это были очень редкие минуты; достаточно было кому-нибудь припомнить какую-нибудь недостающую вещь – и вдруг иллюзия разлеталась, опять болезненно сжималось сердце, отец как-то порывисто поднимался и торопился скрыться.

Однажды, часов в семь вечера, отец воротился не один; с ним пришел молодой человек, недавно приехавший в город, кандидат на судебные должности. Его высокую, с гордо поднятой головой, франтоватую фигуру Надя

встречала на городском бульваре, когда ей приходилось проходить из гимназии с подругами. Эти же подруги давно и ей указывали на молодого человека, которого звали «подавшим надежды», так как первая защитительная речь его в суде произвела эффект, а слух, что у него есть в Петербурге в сенате двоюродный дядя, совсем утвердил прочно его репутацию как выгодного жениха. Надя сидела за учебником в своей комнатке, когда в зальцу вошли отец и молодой юрист. Она как-то вся замерла, и почему-то сердце ее забилось. Как ни заставляла она себя погрузиться в учебник, но это было свыше ее сил. И не столько молодой человек занимал ее, сколько все то, что связывалось с ним... Она слышала, как весело говорил ее отец, как вдруг он преобразился и стал тем прежним, гордым, энергичным, умным, она чувствовала, что он как будто вновь воскрес... Чувствовала она и то, что молодой юрист не был пустой фат, что он был и умен и проницателен, что он умел находить и ценить хороших, честных людей и что это он преобразил ее отца, потому что сумел оценить его и сочувствовал ему, несмотр-

ря на его внешнюю приниженность и опущенность... Они говорили оживленно и долго. Отец ее с давно уже небывалым увлечением рассказывал о своих прежних планах и стремлениях, о том, как ему трудно было выбиться и быть оцененным среди окружающей косности. Надя пошла было к двери, чтобы в щель полюбоваться отцом, когда увидела, как молодой юрист вскочил и с чувством пожал руку отцу. «Я вас понимаю, я вас понимаю», – сказал он.

Отец сиял...

Наде показалось, что они оба направились в ее сторону... Она в бессознательном испуге отшатнулась от двери, поспешно села за стол и уткнула голову в книгу.

Через несколько минут действительно дверь тихо отворилась, и в нее, словно крадучись, вошел отец. Надя взглянула на него... Господи! что это было за лицо: тут и стыд, и робость, и мольба, и страдание, и боязнь за что-то.

– Надя, – прошептал он ей, чуть не умоляя, – пойдем к нам, посиди с нами... Он такой хороший, такой умный, такой...

Побединский не договорил.

«Вот, – подумала Надя, – вот, значит, это самое...»

Кровь ей бросилась в голову, руки побелели и задрожали; взволнованная, она поднялась и вышла в залу...

## IV

Была осень. По одной из крайних улиц Песков, в Петербурге, грязной и вонючей, торопливо шла девушка лет двадцати трех, в черном платье, стареньком драповом пальто, поношенном пледе и черной шапочке. Мелкий дождь, перемешанный с снежными хлопьями, застилал воздух. Утро было серо, холодно, мрачно... Девушка приостановилась, вынула наскоро записку из кармана, взглянула расписание лекций и часов уроков, затем посмотрела на поношенные, обтертые никелевые часы и маленькими шагами еще быстрее продолжала путь. Часы показывали всего четверть девятого. Девушка шла по направлению к Николаевскому госпиталю, куда в то время только что были переведены женские медицинские курсы. Девушка была студентка. По устремленным беспокойно вперед взглядам, по лихорадочной торопливости, по всей той напряженной заботливости, которая замечалась во всем ее существовании, было очевидно, что ей надо куда-то торопиться и что эта торопливость стала для нее настолько обыч-

ной, необходимой, что придавала какой-то особый типичный отпечаток всей ее фигуре, походке, жестам и даже костюму.

Впрочем, как ни озабочена была эта девушка, сегодня, казалось, мысли ее сосредоточены были на чем-то далеком не только от лекций, грязных улиц Песков, длинных казарм Николаевского госпиталя, от уроков с ленивыми и прилежными учениками и ученицами, но даже от выпускных экзаменов, которые уже должны были начаться скоро.

Вот ей встретились гимназистки, торопившиеся в классы, и одна из них почему-то особенно обратила ее внимание. Она приостановилась, посмотрела ей вслед и улыбнулась.

«Это, должно быть, семиклассница, – подумала она. – Мне кажется, я была очень похожа на нее в то время, там, в нашем городишке... Та же неопределенная торопливость куда-то, тот же блуждающий взгляд и то же наивное неведение святого пути, целей, сил... Господи! И вот еще пролетело пять лет... И каких еще лет! Какой горизонт вдруг открылся предо мной, какая масса новых, неожиданных впечатлений! Какая жизнь, о которой я

не имела никакого представления, вдруг стала моей жизнью! Я стала участницей в ней. Пять лет назад была ли у меня хотя мысль о том, что это будет со мною?.. Удивительно, как все это непостижимо делается у нас!..

Право, часто думается, что мы – такие ничтожные, маленькие существа со всем нашим знанием, со всей нашей волей, энергией... Не случись того, в сущности такого незаметного обстоятельства, пройди этот разговор, простой разговор двух девочек-гимназисток, мимо меня, ну, просто даже не вслушайся я в него хорошенько, – и вот я не была бы, может быть, здесь, не были бы все мои здесь, не было всей моей жизни: было бы совсем другое настоящее, другое будущее. Может быть, я была бы уже давно-давно замужем за молодым юристом (теперь, говорят, он уже прокурор, значит – я была бы прокуроршей), у меня были бы дети, мамки, няньки, хозяйство, вечера, игра в винт, визиты к судейским женам, читали бы романы, ездили в театр... И папа был бы доволен или, по крайней мере, материально обеспечен... Муж, наверно, построил бы его... Мама ходила бы опять в

шляпках, не стирала бы белье, не носила бы воду... И все это было бы делом одного месяца, одной недели!.. Прямо после выпускных экзаменов в гимназии могла бы быть моя свадьба... И вдруг... Как точно я вспоминаю всю эту сцену! Вот мы все, выпускные, собрались после педагогического совета слушать объявление о результатах экзаменов... Вот вышла начальница с ведомостью в руках, сопровождаемая всем советом. Я чувствовала, что глаза всех обращены на меня. Вот начальница подходит ко мне, подает свою руку: все улыбаются и поздравляют меня с золотой медалью. Она говорит, что я – звезда не только нашей гимназии, но всей губернии, что я поддержала честь всех наших женщин, всего нашего молодого женского образования; что теперь моими успехами, моим усердием упрочено существование нашей гимназии; что я оправдала возлагавшиеся на меня надежды; что теперь враги женского образования обезоружены мною!.. „Браво, Надежда Побединская: мы победили в лице вашем! О, недаром, недаром у вас такие имя и фамилия!“ – говорит начальница, добродушно улыбаясь... Нет, я это-

го не ожидала, такого триумфа, я чувствовала, что едва стою на ногах, что у меня дрожат руки. Но, что всего важнее, я почувствовала, что вдруг в мою душу проникло что-то новое, какие-то не изведанные никогда прежде ощущения. Помню, я была сильно взволнована: на меня все смотрели как на диво, даже все наши ученицы, как будто я в самом деле была героиня, как будто я действительно совершила необычайный подвиг!.. Вот чтение ведомости было наконец кончено... Шумная толпа учениц рассыпалась по рекреационному залу [5]. Еще вся трепещущая, я подошла к окну с одной из своих подруг и о чем-то говорила с ней, плохо слушая ее. В это время невдалеке от нас о чем-то горячо говорила собравшейся группе одна из наших выпускных. Эта была девушка простого звания, старше нас всех, из дальнего уездного городка: она поступила к нам уже в старший класс прямо. Говорили, что она была прежде учительницей в селе, затем в свободное время приготовилась одна, без всякой помощи, к экзамену в старший класс. Признаться сказать, мы все пред ней казались детьми. Мы почему-то боялись ее,

чуждались, избегали говорить с ней, даже когда она сама заговаривала. Она читала какие-то книги, о которых мы ничего не знали; она знала в жизни то, о чем мы не имели понятия; она говорила всегда так серьезно, когда нам хотелось или шалить, или хохотать, или торопиться учить уроки, как мне... Теперь, прислонившись к подоконнику и постукивая по коленкам книгой, она говорила собравшейся вокруг нее кучке наших.

– Ну, господа... или как вы теперь – mesdames?.. Куда? Замуж?.. На отдых?.. Утомились?.. Говорят, у многих из вас уже есть женихи... Вот, говорят, у Крыловой (самая младшая из нас, маленькая и совсем выглядывавшая девочкой), говорят, даже у нее есть жених, – говорила она, смеясь и показывая на Крылову.

Крылова засмеялась сама, покраснела. Засмеялись и все.

– Впрочем, шутки в сторону... В самом деле, меня изумляют наши... дочери разных всяких таких... разночинцев, (О богачах я уже не говорю!) Не понимаю!.. Учатся в женской гимназии, которая содержится на счет земства,

выучатся на чужой, мужицкий счет, получают золотые медали, и вдруг – замуж!.. играть в ералаш, танцевать на вечерах, читать романы, ездить по визитам... Изумительно!.. И, главное дело, всем им кажется еще, что они героини, что они в самом деле кому-то большое одолжение сделали... А по-моему – это просто подло!..

И говорившая пожала презрительно плечами. Все окружавшие слушали ее молча с каким-то страхом и стыдом, как будто они действительно только что сделали большую шалость.

– Побединская! – вдруг обратилась она ко мне, не смотря, впрочем, прямо мне в лицо. – Вы замуж... с золотой медалью? (Она, бедная, едва получила удовлетворительные баллы, потому, как говорили классные дамы, что много тратила времени на чтение „необязательных“ книг.) А вы, Петрова, неужели тоже? И вы, Кольцова? И вы, mesdames?..

Но в это время начальница громко сказала:

– Ну, дети, теперь на отдых!.. Будьте здоровы, веселы, счастливы!..

– Да, конечно... теперь уже отдышаться... Чего же больше! – заметила суровая девушка. И все стали расходиться.

Не знаю, как ни тяжело мне было жить здесь, чего только не перенесли мы, но, кажется, более тяжелых минут, как тогда, я не переживала.

Я вышла из гимназии. Я не замечала, скоро или тихо я шла, одна или с подругами. Я помню только, как у меня стучало в висках, кровь то бросалась в лицо, то отливала, мысли бессвязно носились в голове. Все перемешалось: торжество и позор, радость и отчаяние, жажда отдыха (просто даже физического отдыха) и решение тотчас же, не теряя ни минуты, снова идти и идти. Но как идти? Это безумие, невозможность!.. Бросить всех своих? И вот опять мысль о матери, об отце... А он теперь такой стал бодрый, хороший... в нем только что вдруг все поднялось, воскресло!..

– Ну, Надечка! – сказали враз отец и мать, встречая меня такими сердечными поцелуями... А мама так радовалась, что уж теперь я отдохну, и все крестила меня.

Но дальше я ничего не помню. Прошли три невыразимо томительных, тяжелых дня: у меня была горячка, и вот, перед кризисом, я, помню, пережила таких же три, четыре дня... пока, наконец, все оборвалось. Я не выдержала и разразилась истерическим плачем. Я плакала громко и неудержимо, плакала целые часы. Отец был особенно нежен со мной. Однажды он подошел к моей кровати, робко присел сбоку и стал гладить меня по волосам. Потом, видя, что я немного успокоилась, он тихо сказал:

– Надечка, ты вышла бы в залу, тебе было бы лучше...

– Я не хочу, я не люблю его, – закричала я, не понимая сама, что говорю, зачем, и не в силах была сдержать себя. – Я пойду скажу ему, – говорила я, быстро вскакивая с кровати и в то же время смутно сознавая, что я делаю что-то нелепое, что я все брежу, сумасшедшая...

Отец был бледен, – даже я это заметила. Он быстро положил мне на горячие губы свою холодную ладонь, уложил меня на кровать и вышел...»

Побединская оглянулась. Там и здесь по тротуарам шли, обгоняя и догоняя ее, студентки. Впереди виднелся Николаевский госпиталь. Воспоминания Побединской резко оборвались, и мысль пошла какими-то неуловимо быстрыми скачками, будто торопясь что-то закончить.

Вот Побединской почему-то вспомнился вагон железной дороги. Поезд словно плывет, покачиваясь и погромыхая цепями; тут и сердитый, молчаливый отец, и мать, которая то и дело крестится, и сестренка, с любопытством осматривающая пассажиров, и она, которой почему-то неловко смотреть и на отца, и на мать, и на сестру... Да и все они, хотя и сидят друг против друга, избегают смотреть один на другого. Когда же глаза ее встречались с глазами отца или матери, у нее вдруг почему-то сильно начинало биться сердце: она вспыхивала и опускала свои глаза...

Странно! У нее из головы не выходило сравнение их поезда с кораблем. Ей казалось, что вот именно так, должно быть, совершал свое знаменитое путешествие Колумб... Кругом безграничное море. Корабль плавно

несется, чуть покачиваясь и скрипя снастями; путники молча стоят на палубе и смотрят вопрошающе то в безвестную даль, то на стоящего впереди их, со сложенными на груди руками, вперившего взор в туманную дымку горизонта, большого человека. Этот человек тоже невольно опускает глаза, когда случайно встречает обращенные к нему взоры спутников. О, он так хорошо знает, о чем спрашивают его эти взгляды, он так страшно сознает ответственность, которую возложила на него судьба!.. И ей казалось, что и у него, должно быть, замирает сердце, – у этого большого человека, как и у нее, слабой, худой, бессильной девушки.

Потом быстро проносится в ее голове другая картина. Сырая, холодная квартира в одном из узких переулков Выборгской стороны (тогда они еще жили там). Все они теснятся в одной маленькой полутемной комнатке, потому что две соседние сдают жильцам. Вечер... Побединская возвращается с урока. У ворот дома с чем-то возится народ: это привезли ее отца, в продранном пальто, растерзанного; его тащат дворники во двор, вот его вволокли

в их комнату и положили на старый, провалившийся диван...

И первая мысль, которая пробегает в голове Нади, это – мысль скверная. Господи, когда же будет конец?..

Несчастный неудачник измучился сам, измучил других и падал все ниже и ниже...

Наутро он лежал уже на столе под образами.

«Это он от меня погиб... Зачем я их всех завлекла сюда?.. Он понадеялся на мои убеждения, что его здесь лучше оценят... Я сама верила в это искренно. Но как же я могла иначе?.. Отчего он не дожил?.. Вот уж... скоро... конец... Вот еще последние шаги, последние...»

Побединская стояла уже у госпиталя. Она отворила массивную дверь. На нее хлынул знакомый шум, ряд воспоминаний моментально рборвался и потонул в совершенно новом, другом круге представлений, интересов, идей.

По широким коридорам и пустым палатам были рассеяны своеобразные группы студенток. Одни кого-то слушали, другие горячо разговаривали, третьи поспешно списывали программы и расписание экзаменов.

– Господа! – крикнула одна высокая студентка, с черными кудрями девушка, поднимая кверху сверток лекций. – Господа! Кто идет к Р.? У него сегодня последняя операция. Больше нам не удастся уже видеть... торопитесь, а то провалимся все на позор всему женскому миру!

– Это ужасно! – также громко отвечал ей кто-то из группы. – Уже теперь только и слышишь: а вот посмотрим, как-то вы оправдаете надежды?.. Говорят, на наши экзамены соберется вся знать: словно – спектакль!..

– Ну, авангард, крепись! – крикнула первая черноволосая девушка. – За тобой пойдут целые полки!..

– Побединская, я совсем трушу... Ей-богу же!.. Никогда, никогда я так не трусила, беденькая, – говорила одна молоденькая сту-

дентка с розовыми щеками и почти детским лицом, беря под руку Надю Побединскую и скрывая под шутливо-поддельным ужасом действительное волнение. – У вас все есть программы? Нам надо торопиться, торопиться...

– Да, Петрова, надо торопиться... и не падать духом!.. Уже теперь остается дать один, последний ход... А там!..

Побединская улыбнулась своими бледными, бескровными губами и тотчас же заторопилась.

– Я вот только сейчас сбегаю на урок. Никак, знаете, не могу оставить уроков даже на этот месяц... Право, такое стечение обстоятельств... А вы спишите расписание и ждите меня через полтора часа.

И Побединская сбежала вниз по лестнице, вышла из госпиталя и почти бегом пустилась на урок, вся поглощенная тою напряженной торопливостью, которая, казалось, никогда уже в жизни не покинет ее: так она слилась с ее натурой.

Между тем в одной группе студенток шел такой разговор по ее уходе.

– А у Побединской какое нехорошее лицо, заметили вы? Ей-богу, так и кажется, что ей не протянуть недели...

– Если бы вы знали, как она живет, что ей стоили все эти пять лет, – это возмутительно!.. Она содержала почти все это время мать, сестру и даже отца. Мать у нее ходит по найму стирать в прачках, тихонько от нее, а она сама, тихонько от матери, набирает столько уроков, что у нее уже буквально нет свободной минуты...

– Право?

– Да, я ее знаю... но она никому ни слова. Ее ведь почти не встречаешь на вечеринках... Изумительно чуткая и деликатная натура!.. Я никогда не встречала такой.

– Ну... вы, Петрова, вечная идеалистка: постоянно преувеличиваете.

– Право, право... Что вы?.. Я знаю это по себе, по всем нашим... Наша жизнь мало-мальски деликатную натуру доводит до такой чуткости, что или в конце убивает совсем наповал, не давая вздоха, или уже выделяет тупое, забитое, индифферентное существо.

– А еще каких два месяца предстоит пере-

жить ей!.. Хотя бы выхлопотать ей какое-нибудь пособие на это время.

– Нет, знаете, ей лучше посоветовать бы остаться еще на год.

– Что вы, что вы? Это значит ухлопать ее окончательно... Еще год такой жизни!.. Она ведь только и живет надеждой, что вот, наконец, будет вздох, хотя немного... Притом она обидится, если ей заикнуться об этом.

– Что делать!

*Даром ничто не дается – судьба  
Жертв искупительных просит, —*

продекламировал кто-то.

– Какие, однако, мы, господа, все еще эгоисты!.. А народ? Миллионы, миллионы...

В группе разговоры смолкли. Потом кто-то тихо спросил что-то насчет лекций, и все стали расходиться. Кто-то совершенно, по-видимому, непроизвольно запел про себя: «Укажи мне такую обитель...»

## VI

Два месяца спустя в самый скверный петербургский вечер, когда, обыкновенно в конце ноября, идет суровая борьба упорствующей осени с зимой, в квартире Побединских справляли окончание курса Надежды Павловны. Но если бы посторонний человек заглянул в эту слабо освещенную единственной лампой с полуразбитым абажуром комнату, то он затруднился бы сказать, что здесь справляли – праздник или поминки. В комнате было всего пятеро. Перед столом, на котором стояла бутылка дешевого портвейна, на старом кресле сидел лысый господин с большою русою бородой, такими же большими добрыми голубыми глазами, чаще смотревшими поверх очков, чем в них. Он был высок, плечист и плотен; но скорбно-наивный взгляд и добродушная улыбка плохо гармонировали с его геркулесовским телосложением. Он иногда отпивал по глотку из стоявшего перед ним стакана и упорно смотрел поверх очков на сидевшую на диване Надежду Павловну. Побединская чувствовала этот взгляд, пол-

ный такой томительной скорби... и любви, и участия, и избегала встречаться с ним. Она сидела, откинувшись к спинке дивана и закинув руки за голову, – поза, которую она никогда прежде не знавала. В этой позе она так была похожа на труднобольную, которую вывезли в креслах на свежий воздух и позволили «вздохнуть». И вот она «вздыхала», вся отдавшись этой невыразимо сладкой истоме изболевшего организма. На другом конце дивана, облокотясь на стол, сидела подруга Надежды Павловны, «розовая» Петрова, так ее прозывали, и наивно-ребячески не сводила глаз с Побединской. Тут же, около них, пристроилась и Анюта, сестра Побединской, на высоком кожаном стуле, и, положив руки на колени, недоумевающими как будто глазами смотрела и на сестру, и на ее подругу, и на почтенного собеседника. Мать Побединской присела в уголку, как-то совсем неудобно, и силилась, надев большие очки, всматриваться при тусклом свете в шов платья, которое она чинила. Вот уже минуты три как собеседники молчали.

– Знаете что? – сказала наконец Победин-

ская. – Сегодня, кажется, единственный день, когда мне некуда торопиться... И мне скучно!.. Что значит привычка!.. Я думаю, что то же должна чувствовать обозная лошадь, когда ей долго не приходится везти воз.

– Что за сравнение! Это мило! – с неудовольствием воскликнула Петрова.

– Вы – героиня, Надежда Павловна, – серьезно произнес, даже не без волнения, почтенный господин и отпил глоток вина.

– Что за вздор! – вспыхнула Побединская. – Если вы, Василий Иванович, еще раз повторите эти слова, я с вами разберюсь... Зачем кощунствовать! Какие мы герои? Если бы вы знали, сколько раз в моей жизни я роптала на свою судьбу, сколько раз мне, в глубине души, хотелось уйти, уйти от всего этого... на покой. Сколько раз я завидовала какой-нибудь барыне, которая спокойно, развалившись в коляске, мчится... И это – героиня!.. В таком случае скажите мне, сколько же героев живут там, по деревням, которые изо дня в день, из часа в час трудятся, не разгибая спины, не видя просвета...

– Она еще, чего доброго, измучает себя

утрызениями совести, – сказала Петрова, – этого еще недостает!..

– Клеветать на себя можно, – проговорил Василий Иванович.

– Нисколько, – сказала Надежда Павловна, – я говорю правду... Какие мы герои?.. Мы все просто – люди своего типа, как пахарь – человек своего типа.

– Прекрасно, – улыбнулся Василий Иванович, – это не умаляет его достоинств... И я повторяю опять: вам необходимо, обязательно – отдохнуть. Если вы не хотите воспользоваться моим... приглашением (тут Василий Иванович весь вспыхнул)... в поместье у моей матери, то во всяком случае... как-нибудь иначе... но только пора перестать торопиться... Это невозможно, это возмутительно!..

– Это дело не мое... Как велит судьба, – улыбнувшись, проговорила Побединская.

– Надо бы, Василий Иванович, очень надо, – прибавила и мать, – да ведь точно... Все у нас от бога!.. Все в его руках!.. Надо его молить, чтобы он хотя на годок дал вздоху...

– Потерпите, мама... Мы уже привыкли... Хуже пережили, – опять улыбаясь, говорила

Побединская.

– Вот и еще доказательство, что вам необходим обязательно отдых. Вы впадаете в какой-то мрачный фатализм, а это признак упадка воли, – сказал Василий Иванович, не без искреннего беспокойства взглядывая на Надежду Павловну. – Судьба!.. Но ведь у каждого есть свой ум, свое сердце, которые тоже имеют право...

– Это, конечно, так... Но есть еще что-то!.. Я, право, не умею вам сказать, – задумчиво возразила Побединская, – не умею назвать, что это: совесть... или какой-то долг, долг типа... Вот именно... мне кажется, что у всякого типа есть свой долг... И этот долг фатален...

В это время кто-то позвонил. Все вздрогнули, так как никого не могли ждать. Вышедшая на звонок мать принесла городское письмо Надежде Павловне.

Вследствие ли настроения от предыдущего разговора, или от неожиданности руки Побединской дрожали, распечатывая письмо. Она быстро пробежала первые строки и улыбнулась, хотя руки ее побелели и похолодели совсем.

– Ну, вот!..– сказала она и, стараясь скрыть дрожание в голосе, прочла следующее:

«Ура, Побединская! Поздравляю вас от всей души... Сегодня утром я зашла в госпиталь, где встретила начальницу. Она просила меня передать вам, что, по ее рекомендации, место врача в – ском земстве упрочено за вами, что она очень, очень рада этому случаю, и за вас, и за курсы, что она надеется – в вашем лице не будет скомпрометирована судьба русской женщины-врача... Все мы тоже искренно рады, что первое место получаете – вы... Лучшего выбора судьба не могла сделать. Вы вполне достойны... Ну, Побединская, вперед!.. Не выдавайте нас... Знаете – на вас теперь будет смотреть вся Россия; от вас зависит связать узами прочного доверия интеллигенцию и народ... О, какое широкое поле открывается перед вами!.. Помогай же вам бог, collega! Сообщите нам, когда поедете. Все наши желают вас проводить и проститься с вами.

*Ваша Курбатова.*

Р. С. Да, я и забыла: вам надо торопиться представляться управе – особенно на этом настаивают, так как у них среди деревень силь-

но распространяется эпидемия».

Дочитав письмо, Побединская в волнении вышла из-за стола и быстро обняла мать.

– Ну, вот, мама... Вот и все!..

– Вы не можете ехать... Это безумие! – сказал, вставая, Василий Иванович (он был совершенно красен от сильного волнения). – Вы посмотрите на себя только: ведь у вас ни крови, ни мускулов, ведь у вас полное истощение всего организма, ведь у вас... Вы сознаете ли ясно, что предстоит вам? Ведь этот уезд чуть не в Западной Сибири, за две тысячи верст, ведь это непросветная глушь, где вы не встретите даже русского мужика, где живут, по уши в грязи, одни башкиры, где почти не говорят по-русски...

Василий Иванович приостановился, как будто ожидая результатов своей речи.

– Побединская! – крикнула, вскакивая, Петрова. – Пустите меня – я поеду за вас!.. Право!.. Я обязываюсь высылать до тех пор, пока вы не получите через год другого места и не выздоровеете, – высылать вам половину жалованья...

– Bravo, Петрова, bravo! – закричал в вос-

торге Василий Иванович.

– Согласны? Вы согласны? – спрашивала Петрова, впиваясь глазами в Надежду Павловну...

– Какие славные вы! – проговорила Побединская, крепко пожимая руки тому и другой. – Давайте-ка выпьем лучше да поздравимся!.. А затем – надо торопиться...

## VII

Через три месяца в квартире Петровой происходила такая сцена. Петрова, облокотившись на стол, плакала. Три-четыре студентки, в шляпах и пальто, не раздеваясь, наскоро читали какое-то письмо, передавая одна другой, и рассматривали лежавшую на столе фотографию.

«Милая Лидия Николаевна, – писала мать Побединской Петровой на засаленном лоскутке почтовой бумаги крупным старинным почерком, – вот и все кончилось с нами, бедными, по воле божией!.. Вот и вся наша короткая радость и надежда!.. Из глубины сердца и день и ночь только спрашиваешь: господь милосердный, зачем же дал ты нам земную жизнь?.. Впрочем, все в твоих всемогущих руках! Неисповедим твой промысел... Вот и дорогой нашей Надечки не стало, милая Лидия Николаевна... Не стало, – нет ее больше у нас... Ах, матери, матери!.. На что вы родитесь, на что зачинаете детей своих? словно кровью поливаете вы землю, а земля эту кровь пьет, как ненасытная губка... Посылаю

вам, милая Лидия Николаевна, карточку, – по заказу председателя снимали... Спасибо им, схоронили с честью и с венками дорогую нашу... Дорога была дальняя. Когда еще ехали, видела я, что Надечка утомилась. А там приехали в деревню: с утра до поздней ночи народ... А Надечка такая деликатная, едет и в ночь и в непогоду... А помощи никакой нет – один фельдшер. Случится операцию делать трудную, – сама дрожит вся, боится за больного, по новости, а посоветоваться с кем или помочь – некому... Извелась совсем от одной думы, не только что от дела... А в деревнях бедность, грязь, все в тифу перевалялись и мыто... А после всех и Наденька не вынесла... Простите, милая, не могу писать. Вчера только похоронили... Мы с Анечкой не знаем, что делать. Сообщите, милая, примут ли опять Анечку в гимназию. Будем ждать вашего ответа с нетерпением. Как-нибудь перебьемся, – пока председатель не оставляет. Добрый человек... А все же надо торопиться Анечке... До свидания, милая Лидия Николаевна, не оставьте нас, бедных. Хорошо, если бы вы телеграммой известили. Мы бы сейчас же пото-

ропились выехать. Все в Питере лучше, я бы работой могла Анечку поддерживать, пока на ноги встанет. Что делать? Теперь одна надежда». Приложенная к письму фотографическая группа, несмотря на некоторый расчет на эффект со стороны фотографа, производит удручающее впечатление, видимо, на всех девушек, собравшихся у Петровой. Содержание группы, впрочем, было не особенно сложно: скромная комната, посередине белый гроб, серебряные подсвечники по бокам и впереди; в гробу – маленькое, высохшее совсем тело, как у ребенка; в головах – венок, а близ гроба – две фигуры: мать в черном платье, повязанная платком, – эта простая, скромная, робкая и смиренная пред велениями судьбы русская женщина, с нею рядом двенадцатилетняя девочка, с широко открытыми глазами, обращенными на лицо покойницы... «Только-то! – говорили эти глаза. – Тут все? Нет, это не может быть...»

О, конечно, не может быть, потому что в маленькой Анюте уже несомненно воскреснет ее сестра... Ведь в экономии мирового блага все равно: Костя, Надя или Анюта...

# Примечания

Написан в 1885 г. Неоднократно выходил отдельной книгой, в сборниках рассказов Н. Н. Златовратского. Включен во все собрания сочинений Н. Н. Златовратского. В советский период неоднократно переиздавался.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Надо торопиться. Сироты 305-й версты. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1955.

[^^^]

## 2

*Вокабулы* – слова или предложения иностранных языков, подобранные в известном порядке, снабженные переводом и предназначенные для заучивания наизусть.

[^^^]

# 3

*Перейти Рубикон* – сделать решительный шаг, определяющий дальнейшие события.

[^^^]

# 4

*Псалтырь* – одна из библейских книг Ветхого завета, состоящая из псалмов, религиозных и морально-поучительных песнопений.

[^^^]

# 5

*Рекреационный зал* – помещение, предназначенное для использования во время рекреации, свободного от занятий времени, отдыха.

[^^^]